

Иван Михайлович Сеченов

**Записки русского профессора  
от медицины**



# **Иван Михайлович Сеченов**

## **Записки русского**

### **профессора от медицины**

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=8645410](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8645410)*

*Записки русского профессора от медицины / Иван Сеченов.: АСТ;*

*Москва; 2014*

*ISBN 978-5-17-094508-5*

### **Аннотация**

Иван Михайлович Сеченов, смог превратить физиологию в точную науку, благодаря его исследованиям искусство диагностики болезней шагнуло далеко вперед. Однако путь успеху знаменитого врача был очень непрост. Его мать, крепостная крестьянка мечтала, что сын когда-нибудь станет профессором. Ивану пришлось самому пробиваться в жизни...

# Содержание

Детство (1829–1843)	4
В Инженерном училище (1843–1848)	22
Конец ознакомительного фрагмента.	32

# **Иван Михайлович Сеченов**

## **Записки русского профессора от медицины**

### **Детство (1829–1843)**

Дед наш, дворянин Костромской губернии, Алексей Иванович Сеченов, хотя и был зажиточный помещик, но детей учил на медные гроши, а сыновей, по господствовавшему в екатерининские времена обычаю, записывал в ранней юности в гвардейские полки. Таким образом отец мой Михаил Алексеевич, младший из сыновей, был сержантом в Преображенском полку, служил при Матушке-Екатерине и дослужился до чина секунд-майора.

В детстве мне случалось видеть бумагу (вероятно, указ об отставке отца) с размашистой подписью «Екатерина», которую отец целовал каждый раз, как бумага попадала ему в руки. По смерти Алексея Ивановича он получил в наследство небольшое имение в Костромской губернии и значительно большее в Симбирской губернии, Курмышского уезда, купленное некогда митрополитом Димитрием Сеченовым и переданное им в род. Здесь отец мой и поселился, выйдя в отставку, на удобную при крепостном праве жизнь российско-

го помещика, и здесь же (в с. Теплом Стане) родилась вся семья его детей: 5 братьев и 3 сестры.

Я самый младший в семье. Переселение отца из Костромской губернии в Симбирскую произошло, сколько я понимаю, по той причине, что он был лошадиный охотник, и хлебное черноземное симбирское поместье давало ему возможность устроить небольшой конский завод, что было бы в Костромском имении невозможно. Как бы то ни было, но всю свою долголетнюю жизнь в деревне он интересовался одним только конским заводом, в поля не заглядывал, от коронной службы уклонялся, по дворянским выборам не служил и даже ни разу не съездил в Симбирск на дворянские выборы. Личных воспоминаний об отце у меня сохранилось очень мало – одни лишь чисто внешние отрывочные черты, потому что он умер, когда мне было 10 лет. Помню его седым стариком, в его ежедневном домашнем костюме (мягкие сапоги, черные плисовые штаны и фуфайка вроде куртки) и в венгерке по праздникам, с трубкой в зубах (помню даже мундштук его чубука); помню, как он ежедневно, после утреннего чая, ходил на конный двор и собственноручно из ларя отмеривал лошадям овес гарнцами, а затем смотрел, как выводили лошадей на водопой; помню, что еще при его жизни я выучился играть на бильярде и немилосердно обыгрывал отца, очень плохого игрока, когда ему случалось играть со мной от скуки. На нас, детей, он мало обращал внимания; по крайней мере, я не помню ни единого случая,

когда бы он приласкал меня или которую-нибудь из сестер<sup>1</sup>. Но с другой стороны, не помню также и случаев, чтобы он на нас сердился или кого-нибудь наказывал. Не имея образования, он, однако, сознавал его важность и внушал нам, детям, что мы должны относиться к своим учителям и учительницам, как к своим благодетелям. Гувернантка в нашем доме была равноправным членом семьи, за обедом сидела на почетном месте и называла старика отца папенькой. Впоследствии я узнал из рассказов, что он отличался бескорыстием и большой честностью; крестьян не притеснял; погорельцам строил избы; в неурожай раздавал хлеб; но вместе с этим не брезговал пользоваться, помимо барщины, заведенным в тех местах порядком брать ежегодно от мужиков по барану с тягла, а с крестьянок – известное количество пряжи. Жил он неприхотливо и крайне дешево «на всем своем» – последнее благодаря тому, что держал большую дворню. Пока все дети были малы, он, при его умеренном образе жизни, был настолько богат, что выстроил в селе почти исключительно на свои деньги большую каменную церковь и двухэтажный деревянный дом в 20 комнат, с небольшим садом по заднему фасаду.

Моя милая, добрая, умная мать была красивая в молодости крестьянка, хотя в ее крови, по преданию, была через

---

<sup>1</sup> Дело в том, что в эти годы все старшие братья были уже вне дома и в деревне оставались со стариками только сестры да я.

прабабку примесь калмыцкой крови<sup>2</sup>. Перед женитьбой отец отправил ее в какой-то женский Суздальский монастырь для обучения грамоте и женским рукоделиям. На ее руках была обычная половина домового хозяйства, но в семье, при жизни отца, голос ее слышался очень редко. К тому же и она не была ласкова к детям; поэтому я узнал ее и полюбил уже в зрелом возрасте, когда по выводе в отставку из военной службы прожил более полугода у нее в деревне. В детстве же, больше отца и матери, я любил мою милую няньку Настеньку, которую по ее летам и положению в доме вся прислуга величала полным именем Настасьи Яковлевны. Она меня ласкала, водила гулять, сберегала для меня от обеда лакомства, брала мою сторону в пререканиях с сестрами и пленяла, вероятно, больше всего сказками, на которые была большая мастерица. Ложась спать, я из-за сказок нередко переселялся к ней на постель, и когда случалось, что мешал ей спать, требуя повторения рассказов, она – это она рассказывала мне сама, когда я был отставным офицером – начинала сказку о том, как некий царь, задумав выстроить костяной дворец, велел со всего царства собрать кости и положить их для размочки в воду. С этими словами она умолкала, а когда я спрашивал, что же дальше, то получал в ответ: «Рассказывать, батюшка, нечего – кости еще мокнут, не размокли»,

---

<sup>2</sup> Из всех братьев я вышел в черную родню матери и от нее же получил тот облик, благодаря которому Мечников, возвратясь из путешествия по Ногайской степи, говорил мне, что в этих палестинах, что ни татарин – вылитый Иван Михайлович.

чем я, по ее словам, и удовлетворялся.

Семья наша, по возрастам детей, распалась на три группы. Два старших брата и старшая сестра, погодки Алексей, Александр и Анна, выбыли из семьи, когда я еще не родился. Братья кончили курс в Демидовском лицее, а сестра – в пансионе. Братьев отец, как военный человек и лошадиный охотник, пустил в гусары; а сестру, по окончании ученья, вернул домой, где она и стала обучать третью группу, двух меньших сестер, Варвару и Серафиму, и меня грамоте. В это время два средних брата, Рафаил и Андрей, учились в нашем уездном городе и оттуда поступили в Казанскую гимназию. Таким образом, все свое детство я рос в деревне товарищем двух младших сестер. При жизни отца была речь о том, чтобы и меня отдать в Казанскую гимназию; но по его кончине мать почему-то удержала меня до 12 лет дома (вероятно, рассчитывая приготовить меня дома не в самый низший класс); а в это время старший брат, гусар, уже офицер, познакомился в Москве с семейством, членом которого был инженер, и, узнав из его рассказов о выгодах инженерной службы и дешевизне образования, получаемого в Главном инженерном училище<sup>3</sup>, настоял у матери, чтобы меня отдали туда. Благодаря этому я продолжал учиться в деревне до 14-го года. Обстоятельство это имело очень важное значе-

---

<sup>3</sup> В те времена плата за все содержание воспитанников, вместе с учением в течение 4 лет, состояла из единовременного взноса 285 руб., причем воспитанник при выходе в офицеры получал даром всю обмундировку, за исключением сюртука и шинели.



ние для моей будущности – из всех братьев я один выучился в детстве иностранным языкам. Дело в том, что родители не считали нужным обучать им дома мальчиков, полагая, что они научатся языкам в школе; а для девочек считали такое обучение необходимым. С этой целью в доме нашем, за год до смерти отца, появилась, ради сестер, смолянка, Вильгельмина Константиновна Штром, знавшая французский и немецкий языки; и меня, уже кстати, в придачу к сестрам, отдали ей на руки.

До приезда гувернантки и некоторое время после ее приезда меня обучал закону Божию, арифметике, русскому и латинскому языкам молодой священник из соседнего села Атяшева, отличавшийся, однако, не столько потребными для учительства знаниями, сколько приятной внешностью, веселым нравом и умением держать себя в дворянском обществе. Насколько могу припомнить его уроки, знания его в арифметике не заходили за пределы начальных действий, а в латыни учителем моим был не он, а латинская грамматика Кошанского, так как вся моя задача заключалась в заучивании преподаваемых в ней правил склонения и спряжения по указанию учителя: «от сих до сих». Наоборот, учение языкам у Вильгельмины Константиновны шло очень удачно благодаря тому, что именно грамматика была на заднем плане. Классные занятия по языкам заключались в том, что мы ежедневно заучивали по одному глаголу, списывая его с книги; затем делали маленькие переводы с иностранного языка на русский

и наоборот. Кроме того, с первого же года она заставляла нас говорить и вне класса не иначе как на иностранных диалектах. Вильгельмина Константиновна оказала мне истинное благодеяние, научив меня обоим языкам настолько, что я не забыл их за время пребывания в инженерном училище (где обучение языкам было неважно) и мог пользоваться этими знаниями во время студенчества<sup>4</sup>.

Учился я, должно быть, легко, потому что меня часто отпускали из класса раньше сестер и никогда не наказывали, тогда как сестра Серафима сживала нередко (по обычаю, вынесенному Вильгельминой Константиновной из Смольного) в бумажном колпаке с надписью «за леность».

К чтению у меня с детства была большая охота, но книг для детского чтения в то время и в помине не было. Помню только Конька-Горбунка (почему-то в рукописи), сокращенного Робинзона с картинками и какое-то иллюстрированное издание Священной истории, которое мы с сестрой Серафимой иллюстрировали, покрывая лица святых красной краской, а лица библейских грешников и злодеев зеленой. Не могу не вспомнить по этому поводу, что иногда Настенька делала мне из своей косы рисовальные кисточки. Позднее, вероятно, под влиянием Александра, скудная библиотека Теплового Стана стала пополняться. Он был большой поклонник

---

<sup>4</sup> Незнание языков у большинства наших студентов представляет большое зло. Пора бы положить ему конец, изменив способ обучению языкам в средних учебных заведениях.

Марлинского, перешел, вероятно, поэтому тотчас по смерти отца из гусаров на Кавказ линейным казаком и считался в семье чуть не литератором, потому что посылал с Кавказа письма с литературным пошибом. Как бы то ни было, но у нас завелся Пушкин, Жуковский, Марлинский, Загоскин и Лажечников. Вероятно под влиянием разговоров в семье, любимым автором моим был Марлинский, и его я прочитал от доски до доски. Знаю наверное, что читал все повести Пушкина, знал почти наизусть одну из его сказок, читал «Руслана» и «Евгения Онегина» (издание с картинками); но стихами не восхищался и, должно быть, предпочитал Пушкину «Юрия Милославского», «Ледяной дом» и «Новика». Читалось все без руководства и указаний литературно образованного человека; поэтому перлами создания казались мне такие вещи, где героями являлись лица, совершившие какие-либо подвиги. Впрочем, вкус к таким героям сохранился у меня и в более зрелом возрасте, когда я познакомился с Вальтер Скоттом и Купером. Гоголя у нас в деревне не было; но его «Мертвые души» мне удалось слышать вскоре по их выходе в свет в чтении большого приятеля нашего дома, курмышского судьи Павла Ильича Скоробогатова. Он славился умением читать и, очевидно, любил читать в обществе.

Мальчик я был очень некрасивый, черный, вихрастый и сильно изуродованный оспой;<sup>5</sup> но был, должно быть, не глуп,

---

<sup>5</sup> Родители, должно быть, не успели привить мне оспу. Она напала на меня на

очень весел и обладал искусством подражать походкам и голосам, чем часто потешал домашних и знакомых. Сверстников по летам мальчиков не было ни в семьях знакомых, ни в дворне; рос я всю жизнь между женщинами; поэтому не было у меня ни мальчишеских замашек, ни презрения к женскому полу; притом же был обучен правилам вежливости. На всех этих основаниях я пользовался любовью в семье и благорасположением знакомых, не исключая барынь и барышень.

Из знакомых всего ближе стояла к нам семья Бориса Сергеевича Пазухина: он – вдовец, две его дочки и воспитавшая их сестра его, Прасковья Сергеевна. Он был, сколько я знаю, единственный друг моего отца в тех краях. Видал я его редко, потому что он жил с семьей в 60 верстах от нас и наезжал в наши края один раз в год, в начале ноября, к именинам отца, и поселялся тогда с своей семьей на некоторое время в соседнем с Теплым Станом имении его сестер, чтобы полевать с борзыми в наших унылых степных палестинах<sup>6</sup>.

---

первом году и изуродовала меня одного из всей семьи.

<sup>6</sup> Как ни бедна Россия живописными видами, но местность, где я провел детство, принадлежит, я думаю, к наименее живописным. Черная, почти как уголь, земля, изрезанная в пологих впадинах оврагами, без единого деревца или ручейка на версты, с единственным украшением редких рошей, виднеющихся на горизонте в виде темных четырехугольников. Эта часть Курмышского уезда густо заселена татарами и мордвой. Приходом к нашей церкви была мордовская деревня Мамлейка; и в те времена я имел случай видеть в церкви мордвовок в их национальных костюмах: белая длинная рубашка, выложенная на груди красным шнурком, бахромистый пояс под брюхо; ожерелье из белых ракушек и очень

Помню я его очень смутно и знаю только из рассказов родных, что это был из ряда вон добрый человек, едва ли не наиболее образованный из курмышских помещиков; не держал ни дворни, ни придворных кружевниц и вышивальщиц; не пользовался ни поборами с своих подданных, ни карательными прерогативами помещичьей власти. По его смерти Прасковья Сергеевна переехала с обеими своими племянницами на постоянное жительство в свое имение, в двух верстах от Теплого Стана, и свидания обеих семей стали очень часты. Младшая племянница, Катя, была в отца – пылкая, веселая, искренняя, немного насмешливая, но очень добрая и такая же верная в дружбе, как ее отец. Она до конца жизни оставалась самым близким другом нашей семьи. Была она года на 4 старше меня, с виду уже совсем взрослая барышня, с милым и живым лицом. Относилась ко мне, может быть памятуя отца, очень ласково; была притом единственной барышней, которую я видел часто, и я в нее влюбился. Вероятно, сознавал однако, что страсть моя покажется смешной и предмету, и окружающим; поэтому я сумел скрыть ее даже от сестер вплоть до отъезда из деревни в Петербург. Насколько сильно было это чувство, я не помню; не помню также никаких особенных эпизодов этой любви; не помню даже хорошенько лица и фигуры Кати; но чувствую и в настоящую

---

уродливый головной убор, в виде наклоненного вперед полуцилиндра с подвешенными к его основанию пробуравленными серебряными пяточками. Теперь тамошняя мордва слилась с русскими до неузнаваемости.

минуту, что, будь она жива, она была бы для меня одним из самых дорогих существ на свете, более дорогим, чем второй предмет моей, уже не детской, любви.

Нельзя также не помянуть добрым словом семьи Филатовых, с некоторыми членами которой мне приходилось встречаться дружески всю жизнь до самого последнего времени.

Одна половина Теплого Стана принадлежала моему отцу, а другая более богатому, чем он, и более старому годами родоначальнику Филатовского рода Михаилу Федоровичу. Старик Филатов был садовод и пчеловод; полевым хозяйством совсем не занимался; всю весну и лето жил в саду и на пчельнике (на осень и зиму вся семья переезжала в имение Пензенской губернии); в гости никуда не ездил; в церковь, несмотря на крайнюю набожность женской половины своей семьи, никогда не ходил; и по этой ли причине или потому что управлявший имением приказчик из дворовых был крут с подчиненными, крестьяне его недолюбливали и подчас считали чуть ли не колдуном, потому что в холеру 48-го года в народе ходил слух, что ее наваял на Теплый Стан старик Филатов: его будто бы перед ее появлением видели, как он намахивал болезнь на село руками. Познакомился я с ним, будучи уже отставным офицером, когда он от старости начинал уже приходить в детство и, вероятно, стал смешивать воображаемое с действительностью, потому что, оставаясь умным человеком, рассказывал серьезно невероятные небылицы. Интересовавшегося его пчелами соседа он уве-

рял, например, что раз у него отроился такой огромный рой, что, привившись к стоявшей перед садовым балконом черемухе, пригнул ее ветви к земле. Узнавши, что я имею намерение изучать медицину, он рассказывал мне, что сам шел по французскому и немецкому факультету (его собственные слова) и вздумал было изучать медицину; но не мог вынести вида трупов, за что был будто бы посажен в «канцыр», так как начальство думало, что он притворяется. Помимо этих странностей, Филатов был очень умный старик, рассуждавший очень здраво о текущих событиях и лицах, относившийся не без иронии к властям и вместе с тем очень приветливый и галантерейный с дамами хозяин. Очень люблю и уважаю живущую по сие время, некогда пылкую и самоотверженную дочь его Наталью Михайловну, воспитавшую племянника своего Нила Федоровича Филатова, одного из лучших профессоров Московского университета, к сожалению, так рано умершего.

На свете рядом с добром всегда живет зло; и рядом с описанными добрыми людьми, в 7 верстах от Теплого Стана жила бездетная вдовья старуха А. П. П., бывшая в молодости, по ее собственным славам, большим аспидом. В мое детство она была, впрочем, в периоде замаливания грехов; и я ясно помню, с какими горячими слезами она молилась по воскресеньям в нашей церкви, куда была прихожанкой. Предание говорит, что, сокрушаясь о грехах и своей неисправимости, она пыталась было известить себя, но выбрала, как ока-

залось, не совсем подходящее средство. Думая, что человек живет хлебом и что без хлеба вредна всякая вообще пища, особенно же жирная, она вздумала уморить себя едой без хлеба; но не уморила, а растолстела и, видя в этом наказание Божие за грех задуманного самоубийства, смирилась и стала замаливать грехи молитвой и добрыми делами. С этой целью она воспитала прежде всего дочь приходившегося ей как-то сродни священника, выдала ее замуж за Павла Ильича Скоробогатова, а по ее смерти воспитывала трех сыновей от этого брака. Замаливая таким образом грехи молодости, она не считала однако грехом держать в ежовых рукавицах всех своих подданных, в особенности же сенных девушек. Надсмотрщицей за ними у нее была экономка Екатерина Петровна Барткевич, вооруженная на сей предмет плеткой. Мужскому полу тоже не было спуска, благо стан и становой пристав были под рукой. Как могли уживаться в одном и том же человеке такое отношение к подчиненным и истинное сокрушение о грехах, понять в наше время очень трудно; но в те времена такое уживание никого не коробило – А. П. считали самовластной, подчас до самодурства, но вместе с тем истинной христианкой<sup>7</sup>. Старики наши водили с ней дружбу; она была даже крестной матерью моей старшей

---

<sup>7</sup> Не могу не вспомнить по этому поводу моей двоюродной сестры, Анны Дмитриевны Тухачевской, которую я время от времени посещал в Москве в 50-х годах, будучи студентом. Это была пожилая и настолько благочестивая дама, что жила в Никитском монастыре, нанимая там квартиру. Она была неукоснительно убеждена в том, что мы, дворяне, происходим от Иафета, а крепостные – от Хама.



сестры и в мое детство обедала у нас чуть не каждое воскресенье, отстояв обедню в нашей церкви.

Была, наконец, в 30 верстах от нас и такая особа (Ф. Г. 3.), которая довела своих подданных до того, что ее удушили.

Да, это было время отживших свой век в наших захолустьях современников Каратаева.

Закончу свои детские воспоминания описанием следующего эпизода, которому был очевидцем. Осенью, в молотьбу, одному нашему крестьянину Петру Бузино попало в ухо ячменное зерно и застряло в ушном проходе, должно быть поперек, так глубоко, что после тщетных домашних усилий он обратился за помощью к случившемуся у нас как раз в это время курмышскому уездному врачу Николаю Васильевичу Доброхотову. Набора с собою у доктора не было, и, по его указанию, наш жестянник согнул ему из печной проволоки щипчики с плоско расплюснутыми концами. Как ни старался бедный доктор вытащить зерно таким инструментом, но, конечно, не мог и придумал следующее: свернул бумажную ленту в трубку, один конец ее вставил пациенту в ухо, а другой зажег.

Предоставляю судить читателю, насколько процветала в те времена хирургическая помощь в нашем уезде; но не могу не прибавить, что бедному Борису Сергеевичу Пазухину пришлось умереть без нее в страшных мучениях от камня в пузыре.

В 1843 г. старший брат был в образцовом полку в Пав-

ловске и списался с матерью, что нашел военного инженера, взявшегося приготовить меня в полгода к поступлению в инженерное училище за 1800 р. ассигнациями. Поэтому в начале 43-го года я был отправлен в Петербург вместе с нашей гувернанткой В. К. — она к своей матери, а я к капитану Костомарову на полгода невыразимо однообразной, скучной, серенькой жизни. Дело в том, что учеников кроме меня у моего нового наставника не было; человек он был не экспансивный — за все время учения я не слышал от него ни единого ласкового слова, но и ни единого выговора — и большую часть дня он был вне дома, оставляя меня в обществе денщика и его супруги на безвыходное сиденье. Трудно поверить, что в течение всего полугода (исключая воскресенье и праздник) я выходил на улицу только раз в неделю, вечером, в соседнюю баню; и один только раз он сводил меня сам на Невский к Доминику и угостил там расстегаем. День наш начинался в столовой чаем, за которым мы оба сидели большей частью молча; затем он давал в течение часа урок из арифметики, которую я у него действительно постиг. После этого он уходил на службу; а меня в полдень кормили завтраком. В 3 часа мы садились с капитаном за обед — стряпню жены денщика. Каковы были обеды, не помню; но из них я вынес впечатление, что патрон мой постоянно страдал отсутствием аппетита, потому что еле притрагивался к кушаньям.

После обеда он удалялся в свой кабинет, куда я ни разу не входил, а часов в 5 уходил до вечернего чая, служивше-

го нам ужином. В 9 часов из стоявшего в моей комнате шкафа-кровати выдвигалась постель, и что происходило затем в доме – не знаю. Верно одно: гостей у капитана не бывало, и мое лежание в постели всегда окружала невозмутимая тишина. Два или три раза в неделю приходил, якобы учить меня русскому и французскому языкам, молодой подпоручик, кораблестроительный инженер с отвратительным французским выговором. Обучение заключалось в том, что он диктовал из книги и поправлял ошибки да давал по временам заучивать стихи. В памяти из его уроков у меня остались только: весь «Мельник» Пушкина, отрывок из «Ермака» Рылева и отрывок из пушкинского перевода стихов Мицкевича «Три у Будрыса сына»:

Нет на свете царицы краше польской девицы:  
Весела – что котенок у печки  
И как роза румяна, а бела – что сметана;  
Очи светятся, будто две свечи.

Изучение грамматики, истории и географии по принятым тогда для поступления в училище учебникам предоставлялось моему собственному усмотрению, с какой целью учебники эти всегда находились в моей комнате. Пользовался ли я, однако, ими, меня не спрашивали.

Не менее странен был и вступительный экзамен в училище. Происходил он в начале августа и длился, кажется, всего один день. Ясно помню, что лично для меня экзамен со-

стоял в решении задач (рядом со мной сидел мальчик, желавший, чтобы я ему помог) и в письменных ответах по русскому и французскому языкам. Из истории же и географии никакого экзамена мне не было. Возможно, что аспирантам, приготавлившимся к поступлению в существовавших тогда подготовительных пансионах, содержимым инженерами, делались при экзамене льготы; но возможно и то, что знаниям по истории и географии не придавалось значения.

Замечательно, что на душе у меня не было никакого неприязненного чувства к капитану Костомарову. На жизнь у него я не жаловался ни брату, ни моей прежней гувернантке, в семью которой ходил по воскресеньям и праздникам не только в эти полгода, но и во все время пребывания в инженерном училище, так как других знакомых, кроме этой семьи, в Петербурге у меня не было. Не зная городских нравов и не живя до тех пор между чужими, я думал, должно быть, что иной формы существования на чужбине и быть не может.

Семья Вильгельмины Константиновны состояла из ее младшей сестры Олимпиады, уже взрослой девицы, и прелестнейшей старушки матери, Эмилии Адольфовны, немки из Франкфурта-на-Одере, плохо говорившей по-русски и жившей на маленькую пенсию покойного мужа (эстляндца или лифляндца, капитана русской службы) и частную пенсию от графа Адлерберга, министра двора. Нет сомнения, что мать платила им и за меня, потому что они возили ме-

ня в театр, давали денег на извозчиков и позднее, когда я выучился курить, на табак.<sup>8</sup> В праздники и по воскресеньям кроме меня к ним ходили два кадета, братья Михайловские. Старший из них, Николай Андреевич, будущий муж моей старшей сестры, был тогда на выпуске и учился так хорошо, что вышел офицером в гвардию, в Финляндский полк.

В маленькой гостинной семьи Штром очень часто происходили чтения вслух и разговоры по поводу прочитанного. Здесь я познакомился с русской литературой гораздо больше, чем в инженерном училище, где преподавателем словесности был старик Плаксин, не признававший Гоголя и ставивший выше всех Державина и Крылова. Для скромной семьи Штром, не имевшей никаких знакомых, кроме, нас, трех мальчиков, воскресенья и праздники были, очевидно, праздничными днями. Эмилия Адольфовна самолично отправлялась тогда с кульком на Сенную за провизией, сама стряпала, и ее вкусные обеды, суп с фрикадельками, пирог с сигом и жареные рябчики, не в укор будь сказано костомаровским обедам, я не забыл и вспоминаю по сие время с большим удовольствием.

---

<sup>8</sup> Вплоть до выхода в офицеры денег у меня в кармане никогда не было ни копейки.

## **В Инженерном училище (1843–1848)**

Школу военных инженеров, под именем Главного инженерного училища, составляли 4 класса младших воспитанников, называвшихся кондукторами, и 2 офицерских класса. Учение в кондукторских продолжалось 4 года, и затем воспитанники производились в офицеры, с переходом в нижний офицерский класс. Кондукторов полагалось по штату 325 человек, и они образовывали так называемую кондукторскую роту, с ротным командиром (полковником) во главе и его 5 или 6 помощниками (обыкновенно из саперных офицеров) в роли надзирателей, дежуривших по очереди. При поступлении в училище мы тотчас же присягали и считались по закону юнкерами, состоящими на государственной службе, поэтому были избавлены от практиковавшихся тогда в кадетских корпусах телесных наказаний. Но помимо этого весь внешний военный режим был тот же, что в корпусах; первые два года воспитанники считались рядовыми; на 3-й год отличавшихся поведением и фронтовыми успехами награждали чином ефрейтора, с соответствующей нашивкой на погоне; а в старшем классе наиболее достойный из всех делался фельдфебелем; за ним, по нисходящему порядку достоинств, двое или трое производились в старшие – и боль-

шее число в младшие унтер-офицеры.

Должность фельдфебеля заключалась в том, что, когда воспитанники строились в колонну, чтобы идти на завтрак, на обед или в классы, он один оставался вне строя и командовал колонне идти налево или направо. Сверх того ежедневно по утрам ходил в квартиру ротного командира доносить, что в роте все благополучно. При этом он мог бы, конечно, доносить и многое другое; но в мое время наш командир, барон Розен, был такой честный человек, что едва ли стал бы терпеть доносы товарища на товарищей. Должность же унтер-офицеров была еще более легкая – они поочередно дежурили по роте и должны были только вставать утром раньше других, чтобы будить лентяев на вставанье. Впрочем, в молодости спится, как известно, очень крепко, а вставать приходилось по барабану в 5½ часов утра, потому что в 7 часов кончался утренний завтрак<sup>9</sup>, после которого шли тотчас же в классы. Учебной частью заведовал инспектор (полковник), а превыше всех стоял начальник Главного инженерного училища (в первый год моего пребывания – генерал Шарнгорст).

Училище наше помещалось в главном корпусе бывшего дворца императора Павла (называвшегося поэтому Инже-

---

<sup>9</sup> Кормили нас вообще не дурно, особенно по вторникам, где за обедом являлся сносный пирог с вареньем – подарок инженерному училищу из собственных средств великого князя Михаила Павловича; но за завтраком давали бурду, которой я не мог пить за все 4 года, – жиденький ячменный кофе, сваренный с молоком на патоке.

нерным замком), по фасаду, обращенному к Летнему саду. Нижний этаж занимали спальни кондукторской роты, канцелярия, цейхгауз, рекреационная зала и квартира ротного командира; а в верхнем этаже молельная, комнаты кондукторских и офицерских классов. Помещение было, конечно, роскошное, комнаты высокие и светлые. На радость курильщиков, в печах очень высокого здания были такие сильные тяги, что куренье через выюшки не оставляло после себя никаких следов. Куренье было запрещено, но не строго преследовалось, нужно было только не попадаться на месте преступления и не дымить в комнате. Гимнастики не существовало; но пробегаться в свободные часы было где: из рекреационной залы был выход на довольно большой плац (по всему фасаду, обращенному к Летнему саду), куда нас пускали во все времена года. Во времена Николая нас, военных, приучали к холоду; единственным теплым платьем даже в 25-градусные морозы были ничем не подбитые шинели из темно-серого сукна (значительно более тонкое, чем солдатское), наушники на ушах и жесткие, набеленные мелом варежки на руках. В шинелях мы щеголяли только выходя из училища; в стенах же его и зимой, во время игр на плацу, одеяние наше состояло из штанов серо-голубоватого цвета и куртки с погонами и стоячим воротником.

При училище была церковь и свой священник, с магистерским крестом, Розанов. Помню, что по вечерам он приходил иногда в наши дортуары для религиозных, ни для ко-



го, Впрочем, не обязательных собеседований; но учил ли он нас закону Божию, не помню, хотя утверждать противное не смею. Классы нумеровались снизу вверх: 4-й, 3-й, 2-й и 1-й. Математике обучали недурно: в низшем классе – арифметика; в следующем алгебра, геометрия и тригонометрия (сферической не учили); во 2-м классе аналитическая геометрия (без высшего анализа) и начертательная, со включением перспективы, теории теней и теории сводов; в старшем классе дифференциальное исчисление; в нижнем офицерском классе интегральное исчисление (преподаватель Остроградский)<sup>10</sup> и аналитическая механика. Стоит еще помянуть добрым словом уроки истории архитектуры, казавшиеся мне очень красивыми; красивое изложение новой истории преподавателем Шакеевым и истории французской литературы в старшем классе с очень хорошим учителем Courmand. Обучение главному предмету – фортификации – длилось все шесть лет, начинаясь с описания искусства вязать туры и фашины. Но к инженерному искусству, со всеми его аксессуарами, черчениями разного рода, душа у меня не лежала – моим любимым предметом в старшем классе была физика; и в доказательство того, что я занимался ею успешно, может служить то обстоятельство, что на публичном выпуск-

---

<sup>10</sup> В тот год, как я его слушал, читал он очень мало; время проходило большей частью в решении задач и в разговорах о походах Юлия Цезаря, Ганнибала и Наполеона. Нас, как математиков, он ценил, шутя, очень низко; по его словам, первый математик – Бог, потом великий Эйлер: ему он ставил высший бал – 12, себе – 9, а всем нам – «нуль».

ном экзамене, происходившем в присутствии многих генералов, учитель физики выбрал для ответа меня. Помню, что он только что получил перед этим из Германии электромагнитную машину Штерера, обучал меня у себя на квартире ее управлению, и на экзамене я продуцировал все ее действия. Каждый из нас знал наперед, что будет отвечать, но с виду экзамен происходил по билетам, которые лежали на столе перед начальником инженеров, и экзаменующийся, после низкого поклона важному человеку, брал билет на его глазах из кучки. В нижнем офицерском классе любовь моя перешла на химию (читалась только неорганическая). Математика мне давалась, и, попади я из инженерного училища прямо в университет на физико-математический факультет, из меня мог бы выйти порядочный физик, но судьба, как увидим, решила иначе.

Распорядок дней был следующий. С 7 до 8 утра приготовительный класс без учителя; с 8 до 12 ч. – уроки; с 12 до 2 – рекреация. У кого были деньги, могли в эти часы покупать на свой счет в столовой булки с маслом и зеленым сыром и сладкие пирожки; а для неимущих выставлялась большая корзина с ломтями черного хлеба. Многие из нас, неимущих, зимой, когда топились печи, обращали эти ломти в сухари. Сушилнями служили печные трубы, и к вечеру лакомство было готово, чтобы хрустеть на зубах. В 2 часа был обед с пением молитв при начале и конце; с 3 до 6 часов после обеда опять классы. Стало быть, ежедневно 7 часов учения,

за исключением пятницы, когда послеобеденные уроки продолжались только до 4 с половиной часов, так как в следующие за тем полтора часа производилось ротное учение, т. е. маршировка, различные построения по сигналам и ружейные приемы (ружья в мое время были еще кремневые). Вечером, до ужина, занятия были различные: в понедельник фехтование для желающих; вторник – обязательные для всех танцы; среда – баня; четверг и пятница – весь вечер свободный; а в субботу в 6 отпуск по домам до 9 вечера воскресенья. Ужинали в 8 и в 9 – спать. Кто хотел заниматься после ужина, тому давалась сальная свечка, и заниматься можно было в умывальной хоть всю ночь. Кто предпочитал заниматься ранним утром, тот выкладывал на столик подле своей кровати число бумажек, соответствующее часу, когда его имел разбудить дежурный служитель. Бывали столики даже с двумя бумажками; но я не был в числе таких тружеников.

Подробностей моего первого знакомства с товарищами я не помню. Знаю только, что мне дали прозвище «деряба», но не обижали, хотя в училище были охотники мучить новичков, и существовал даже дикий обычай наказывать их за провинности, конечно, пустые или даже мнимые, плеткой, против которого не протестовало почему-то и начальство, хотя не могло не знать об этой скверности. В мое время артистами по части плеточной расправы были Стратанович и Маркелов – выписываю нарочно их фамилии. Благодарю Бога, он избавил меня от рук этих дикарей и, вопреки своей фамилии, се-

чен я в жизни не был. Из событий первого года больше всего в памяти осталась болезнь заушница (свинка), обучение фронту и бунт против начальства. Болезнь эту я помню из-за способов лечения оной училищным доктором, стариком Волькенштейном: он очистил меня сначала рвотным, а потом закатил такую дозу слабительного, что со мной сделался в лазаретном клозете обморок, всполошивший находившегося поблизости служителя, вероятно слышавшего шум моего падения. Не знаю, был ли я обязан этому эмпирическому лечению благоприятным исходом болезни, но опухоль разрешилась без перехода в нагноение.

Фронту учили новичков заслуженные унтер-офицеры гвардейского саперного батальона. Первые шаги в этой науке заключались в обучении умению стоять «навытяжку» и «вольно»; затем в умении плавно поднимать то правую, то левую ногу для маршировки тихим шагом. Подобно тому, как все вообще военные эзерции производятся с короткими перерывами для отдыха, так и наши саперы давали нам время от времени «вольно»; и в один из таких промежутков учитель нашей партии, Кузьмин, рассказал нам в поучение, как учил их самих в Царском Селе фронтовому искусству теперешний император Николай Павлович, тогда великий князь. Он раздевал их в манеже догола, чтобы видеть настоящую выправку, и требовал от начальства, чтобы оно не давало солдатам спать скрючившись. Если начальство замечало такого, то разбудит и выбранит; раз, другой спустит, а потом

— не прогневайся.

Бунт произошел по следующему случаю. Когда мы поступили в училище, в низшем классе оставался на другой год князь Е., мальчик не глупый, но отличавшийся непобедимой ленью.<sup>11</sup> До нас дошли слухи, что родители его обратились к начальству с просьбой употребить для его исправления розги, что будто бы и было исполнено. Этот противозаконный поступок взволновал старших воспитанников, и решено было выразить протест главному начальнику, генералу Шарнгорсту: ответить всеобщим молчанием на его обычное приветствие при первой же встрече, что и было пунктуально исполнено. За это фельдфебель Зейме был лишен своего звания; всех нас осудили на сидение по воскресеньям и праздникам в училище в течение года, и вскоре затем генерал Шарнгорст удалился, и на его место был назначен Ламновский. Затевая этот протест, нашим старшим, терпевшим в своей среде плеточную институцию, следовало бы иметь в виду, что у них самих рыльце в пуху, или по крайней мере отменить эту гадость после протеста, но этого не случилось.

К весне 1844 г. мы, новички, окончив курс ученья у сапе-

---

<sup>11</sup> Уловки, к которым он прибегал на экзамене из математики, достойны описания: на все трудные для него билеты он писал мельчайшим почерком на отдельных бумажках нужные по вопросу выкладки в том порядке, в каком придется писать их на доске, и прятал эти ответы на своей особе в следующем порядке: несколько билетов за галстук, 7 билетов в промежутке между пуговицами курточки, остальные в карманах штанов. Получив билет со стола экзаменатора, он уже знал по номеру, где отыскать ответ, и списывал его, стоя у доски.

ров, поступили в ротный строй; и как только наступило тепло, началось веселое время приготовления к майскому параду. У себя дома ученья производились тогда чуть не ежедневно на открытом воздухе, и два раза назначались репетиции парада на плацу 1-го кадетского корпуса, вследствие чего мы имели не малое удовольствие проходить строем по Невскому на Васильевский остров. Здесь, кроме всех военно-учебных заведений, были собраны моряки, путейцы, горные и лесные – все, как следует, в военных мундирах с ружьями. Первый смотр делал генерал Шлиппенбах, а второй – великий князь Михаил Павлович, имевший терпенье проходить пешком по фронту всех заведений и осматривать вблизи наш внешний вид. Это я хорошо помню по следующему случаю: проходя по нашему фронту, он ткнул пальцем в грудь воспитанника Попова со словами «уберите мне в заднюю шеренгу эту угрюмую физиономию». День майского парада был, конечно, еще более радостный: до сих пор помню чувство какого-то воодушевленного старания отличиться, когда рота наша проходила мимо государя. Притом же, после парада, нас кормили парадным обедом и распускали по домам. Еще веселее был поход в Петергофский лагерь. После раннего обеда мы шли в походной форме, с ранцами за плечами, к Нарвской заставе. В 4 часа приезжал туда император и пропускал мимо себя все отправляющиеся в лагерь военно-учебные заведения. В Красном Кабачке был привал, где нас поили чаем и каждому давали булку с мас-

лом и телятиной. С этого привала мы, инженеры, проходили на ночевку в какую-то чухонскую деревню, спали в избах на соломе и вставали утром очень рано, чтобы иметь до похода в Петергоф возможность покататься верхом на чухонских лошадках (благо хозяева брали с нас недорого). Я страстно любил верховую езду и катался на чухонках с невыразимым наслаждением. При входе в Петергоф нас опять встречал и пропускал мимо себя император.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.